

ПОСЛЕДНИЙ СРОК

Повесть

1

Старуха Анна лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело: старухе было под восемьдесят. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах, но три года назад, оставшись совсем без силенок, сдалась и слегла. Летом ей будто легчало, и она выползала во двор, грелась на солнышке, а то и переходила с роздыхом через улицу к старухе Миронихе; но к осени, перед снегом, последняя мочь оставляла ее, и она по утрам не в состоянии была даже вынести за собой горшок, доставшийся ей от внучки Нинки. А после того как старуха два или три раза подряд завалилась у крыльца, ей и вовсе приказали не подниматься, и вся ее жизнь осталась в том, чтобы сесть, посидеть, опустив на пол ноги, а потом опять лечь и лежать.

За свою жизнь старуха рожала много, но теперь в живых у нее осталось только пятеро. Получилось так оттого, что сначала к ним в семью, как хорек в курятник, повадилась ходить смерть, потом началась война. Но пятеро сохранились: три дочери и два сына. Одна дочь жила в районе, другая в городе, а третья и совсем далеко — в Киеве. Старший сын с Севера, где он оставался после армии, тоже перебрался в город, а у младшего, Михаила, который один из всех не уехал из деревни, старуха и доживала свой век, стараясь не досаждать его семье своей старостью.

В этот раз все шло к тому, что старухе не перезимовать. Уже с лета, как только оно пошло на убыль, старуха стала обмирать, и только уколы фельдшерицы, за которой бегала Нинка, доставали ее с того света. Приходя в себя, она тоненько, не своим голосом, стонала, из глаз ее выдавливались слезы, и она причитала:

— Сколь раз я вам говорела: не трогайте меня, дайте мне самой на покой удти. Я бы тепери где-е была, если бы не ваша фельшерица. — И учила Нинку: — Ты не бегай боле за ей, не бегай. Скажет тебе мамка бежать, а ты спрячься в баню, подожди, а потом скажи: нету ее дома. Я тебе за это конфету дам — сладкую такую.

В начале сентября на старуху навалилась другая напасть: ее стал одолевать сон. Она уже не пила, не ела, а только спала. Тронут ее — откроет глаза, глянет мутно, ничего не видя перед собой, и опять заснет. А трогали ее часто — чтобы знать: жива, не жива. Высохла и ближе к концу вся пожелтела — покойник покойником, только что дыхание не вышло.

Когда окончательно стало ясно, что старуха не сегодня завтра отойдет, Михаил пошел на почту и отбил брату и сестрам телеграммы — чтобы приезжали. После этого растолкал старуху, предупредил:

— Подожди, мать, скоро наши приедут. Повидаться надо.

Первой, уже на другое утро, приехала старшая старухина дочь Варвара. Ей добираться из района было недалеко, всего-то пятьдесят километров, и для этого ей хватило попутной машины. Варвара открыла ворота, никого не увидала во дворе и сразу, как включила себя, заголосила:

— Матушка ты моя-а-а!

Михаил выскочил на крыльцо:

— Погоди ты! Живая она, спит. Не кричи хоть на улице, а то соберешь сейчас всю деревню.

Варвара, не глядя на него, прошла в избу, у старухиной кровати тяжело стукнулась на колени и, мотая головой, снова взвыла:

— Матушка ты моя-а-а!

Старуха не пробудилась, ни одна кровинка не выступила на ее лице. Михаил пошлепал мать по провалившимся щекам, и только тогда ее глаза изнутри задвигались, зашевелились, пытаясь открыться, и не смогли.

— Мать, — тормозил Михаил. — Варвара приехала, погляди.

— Матушка, — старалась Варвара. — Это я, твоя старшая. Я к тебе повидаться приехала, а ты на меня и не смотришь. Матушка-а-а!

Глаза у старухи еще покачались-покачались, словно чашечки весов, и остановились, сомкнулись. Варвара поднялась и отошла плакать к столу — где удобнее. Она рыдала долго, пристукивая головой о стол, зашла в слезах и уже никак не могла остановиться. Возле нее ходила пятилетняя Нинка, пригибалась, чтобы заглянуть, почему Варварины слезы не бегут на пол; Нинку прогоняли, но она, хитря, снова прокрадывалась и лезла к столу.

Вечером на счастливо подгадавшем пароходе, который ходит только два раза в неделю, приехали городские — Илья и Люся. Михаил встретил их на пристани и повел в дом, где все они родились и выросли. Шли молча: Люся и Илья по узкому и шаткому деревянному тротуарчику, Михаил рядом, по комкам засохшей грязи. Деревенские здоровались с Люсей и Ильей, но не задерживали разговорами, проходили и с интересом оглядывались. Из окон на приехавших таращились старухи и ребятишки, старухи крестились.

Варвара при виде брата и сестры не утерпела:

— Матушка-то наша... Матушка-а-а!

— Погоди ты, — опять остановил ее Михаил. — Успеешь.

Сошлись все у старухиной кровати — и Надя, Михайлова жена, тут же, и Нинка. Старуха лежала недвижимо и стыло — то ли в самом конце жизни, то ли в самом начале смерти. Варвара ахнула:

— Не жива.

На нее никто не цыкнул, все испуганно зашевелились. Люся торопливо поднесла ладонь к открытому рту старухи и не почувствовала дыхания.

— Зеркало, — вспомнила она. — Дайте зеркало.

Надя кинулась к столу, на ходу вытирая о подол осколок зеркала, подала его Люсе; та торопливо опустила осколок к бескровным старухиным губам и с минуту подержала. Зеркальце чуть запотело.

— Жива, — с облегчением выдохнула она. — Жива наша мама.

Варвара опять спохватилась плакать, будто услышала все не так, Люся тоже опустила слезу и отошла. Зеркальце попало к Нинке. Она принялась на него дуть, заглядывать, что с ним после этого будет, но ничего интересного для себя не дождалась и, улучив момент, сунула зеркальце к старухиному рту, как только что делала Люся. Михаил увидел, при всех отшлепал Нинку и вытолкал из комнаты. Нинкин рев заглушил плач Варвары, и Варваре пришлось умолкнуть. Она вздохнула:

— Ах матушка ты наша, матушка.

Надя спросила, куда подавать на стол — сюда, в комнату, или в кухню. Решили, что лучше в кухню — чтобы не тревожить мать. Михаил принес бутылку водки и бутылку портвейна, водку разлил себе и Илье, портвейн сестрам и жене.

— Татьяна наша сегодня уж не приедет, — сказал он. — Ждать не будем.

— Сегодня не на чем больше, ага, — согласился Илья. — Если вчера получила телеграмму, сегодня на самолет, в городе пересадка. Может, сейчас в районе сидит, а машины на ночь не идут — ага.

— Или в городе.

— Завтра будет.

— Завтра обязательно.

— Если завтра, то успеет.

Михаил на правах хозяина первый поднял рюмку:

— Давайте. За встречу надо.

— А чокаться-то можно ли? — испугалась Варвара.

— Можно, можно, мы не на поминках.

— Не говорите так.

— А, теперь говори не говори...

— Давно мы вот так все вместе не сидели, — с взволнованной грустью сказала вдруг Люся. — Татьяны только нет. Приедет Татьяна, и будто никто никуда не уезжал. Мы ведь раньше всегда за этим столом и собирались, в комнате только для гостей накрывали. Я даже на своем месте сижу. А Варвара не на своем. И ты, Илья, тоже.

— Где уж там — не уезжали! — стал обижаться Михаил. — Уехали, и совсем. Одна Варвара заглянет, когда картошки или еще чего надо. А вас будто и на свете нету.

— Варваре тут рядом.

— А вам прямо из Москвы ехать, — поддела Варвара. — День на пароходе — и тут. Уж хоть бы не говорили, раз за родню нас не признаете. Городские стали, была охота вам с деревенскими знаться!

— Ты, Варвара, не имеешь никакого права так говорить, — разволновалась Люся. — При чем здесь городские, деревенские? Ты думай, о чем говоришь.

— Ага, у Варвары, конечно, нету права говорить. Варвара не человек. Че с ней разговаривать? Так, пустое место. Не сестра своим сестрам, братьям. А если спросить тебя: сколько ты дома до сегодняшней поры не была? Варвара не человек, а Варвара матушку нашу проводывала, в год по сколько раз проводывала, хоть у Варвары не твоя семья, побольше. А теперь Варвара и виноватая сделалась.

— Давно не была — чего там! — поддержал Варвару Михаил. — У нас еще Нинка не родилась, приезжала. А Илья в последний раз был — когда с Севера переехал. Еще Нинку Надя от груди отнимала. Помнишь, горчицей соски мазали, ты смеялся?

Илья помнил, кивнул.

— Не могла, вот и не приезжала, — обиженно сказала Люся.

— Захотела — смогла бы, — не поверила Варвара.
— Что значит — смогла бы, если я говорю: не могла? С моим здоровьем, если в отпуске не подлечиться, потом весь год будешь по больницам бегать.

— У Егорки всегда отговорки.

— При чем здесь какие-то Егорки и отговорки?

— А так, ни при чем. Вам уж и слова сказать нельзя. Важные стали.

— Ладно вам, — сказал Михаил. — Поехали еще по одной. Чего она будет киснуть?

— Поди, хватит, — предупредила Варвара. — Вам, мужикам, только бы напиться. Матушка при смерти лежит, а они тут разгулялись. Не вздумайте еще песни петь.

— Песни никто и не собирался петь. А выпить можно. Мы сами знаем, когда можно, когда нельзя — не маленькие.

— Ой, да с вами только свяжись.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным деревянным столом, сколоченным их покойником-отцом лет пятьдесят назад. Все они, пожив отдельно, теперь мало походили друг на друга. Посмотреть на Варвару, она по виду годилась им в матери, и хотя только в прошлом году ей пошел шестой десяток, выглядела она много хуже этого и уже сама походила на старуху, да еще, как никто в родове, была толстой и небыстрой. Одно она переняла от матери: рожала тоже много, одного за другим, но к той поре, когда она стала рожать, ребятишек научились оберегать от смерти, а войны для них еще не было — поэтому все они находились в целости и сохранности, только один парень сидел в тюрьме. Радости в своих ребятах Варвара видела мало: она мучилась и скандалила с ними, пока они росли, мучится и скандалит сейчас, когда выросли. Из-за них раньше своих годов и состарилась.

За Варварой у старухи шел Илья, потом Люся, Михаил и последней была Татьяна, которую ждали из Киева.

Илью из-за малого роста до армии звали Ильей-коротким, и, хоть длинного Ильи в деревне не было, прозвище

это так и пристало к нему. Оттого что больше десяти лет он прожил на Севере, волосы у него сильно повывлезли; голова, как яйцо, оголилась и в хорошую погоду блестела, будто надраенная. Там, на Севере, он и женился, да не совсем удачно, без поправки: брал за себя бабу нормальную, по росту, а пожилы, она раздалась в полтора Ильи и от этого осмелела — даже до деревни доходили слухи, что Илья от нее терпит немало.

Люсе тоже уже больше сорока, но ей ни за что столько не дашь: она не по-здешнему моложавая, с чистым и гладким, как на фотокарточке, лицом и одета не как попало. Люся уехала из деревни сразу после войны и за столько лет научилась, конечно, у городских за собой доглядывать. Да и то сказать: какие у нее еще заботы без ребятишек? А ребятишек Люсе Бог не дал.

У Михаила — не то что у Ильи — волосы по-цыгански густые и кудрявые, борода и та курчавится, завивается в колечки. Лицом он тоже черный, но чернота эта больше от солнца да от мороза — летом у реки на погрузке, зимой в лесу на валке — круглый год он на открытом воздухе.

Вот так они сидели и разговаривали за длинным кухонным столом, чтобы не мешать умирающей матери, ради которой впервые за много лет собрались в родном доме. Не хватало только Татьяны. У Михаила с Илей еще было что выпить, женщины отставили от себя рюмки, но не вставали — сидели, размякнув от встречи и разговоров, от всего, что выпало им в этот день, боясь того, что выпадет завтра.

— Надо было мне сразу и Володьке телеграмму отправить, — говорил Михаил, — Теперь бы уж здесь сидел, возле нас. Охота на него посмотреть, какой стал.

— Он где? — спросил Илья.

— В армии. Второй год уж доходит. Летом обещался приехать в отпуск, да, видать, проштрафился — не пустили. Пишет, что кто-то там из его отделения с поста ушел, а его как командира наказали. Может, и сам что

натворил, там это недолго. Как думаешь, отпустят его, нет, если к бабке?

— Должны отпустить.

— Надо было вчера сразу и отбить. Дурака свалял. Думаю, как написать, чтоб не прискреблись? Внук все же, не сын.

— Так бы и написал: бабка плохая, срочно приезжай, — посоветовала Варвара.

Надя вся натянулась от потерянного счастья уже сейчас видеть перед собой сына.

— Я ему это же говорила, так он разве будет слушать?

— Подождите уж немножко, — сказала Люся.

— Лучше подождать, ага. А то можно только все испортить. Потом уж сразу: так и так. На похороны должны отпустить.

— Ой-ёй-ёшеньки, — вздохнула Варвара. — Не думали, не гадали. Одна матушка на всех, и вот.

— Сколько тебе их надо? — хмыкнул Илья.

Варвара обиделась:

— Ты прямо как неродной! Все с подковырочкой. Все хочешь из меня дуру сделать. А я не дурней тебя, можешь не подковыривать.

— Я и не думаю, что дурней. Чего это ты взъелась?

— Ага, не думаешь.

Люся тихонько спросила у Нади:

— У вас швейная машинка есть?

— Есть, только я не знаю, шьет ли она. Давно уж не открывала.

— Сегодня стала смотреть, а у меня, как назло, ни одного черного платья, — объяснила Люся. — Побежала в магазин, материал купила, а шить, конечно, некогда было, только скроила. Придется здесь.

— Не успеете сегодня.

— Успею, я быстро шью. Потом, когда лягут, тут, в кухне, и устроюсь.

— Ладно, я достану, посмотрите.

Перед тем как укладываться, сошлись опять возле матери, чтобы знать, с чем ложиться. Люся попробовала найти пульс и кое-как нащупала его — чуть живой. Михаил не утерпел и подергал мать за плечо, и тогда вдруг услышали, как откуда-то изнутри донесся стон не стон, храп не храп, будто и не материн вовсе, чужой, будто, занятая своим делом, огрызнулась смерть. На Михаила зашикали, но от этого звука сделалось всем не по себе, даже Нинка полезла к Наде, присмирела.

— Хоть бы до белого дня дожидла, — всхлипнула Варвара и умолкла.

Стали укладываться. Изба была большая, но по-деревенски перегорожена всего на две половины: в одной лежала старуха, в другой спала Михайлова семья. Надя себе и Михаилу постелила на полу, а свою кровать отдала Люсе. Для Варвары нашлась раскладушка, которую поставили на старухиной половине, чтобы Варвара присматривала за матерью. Там же собирались положить на пол Илью, но он захотел спать в бане; баня у Михаила была чистая, без сажи и прелого духа, и стояла в ограде. Илье дали доху и фуфайки под низ, а наверх ватное одеяло, и он ушел, сказав, чтобы в случае чего будили.

Электричество у старухи выключили, зажгли лампу. Решили держать свет всю ночь, только убавили фитиль.

Надя достала машинку, поставила ее на тот же стол, за которым сидели, и Люся сначала испробовала ее ход на тряпке. Машинка шила хорошо.

— Ложись, — сказала Люся Наде. — Усни, пока можно. Неизвестно еще, какая сегодня будет ночь.

Надя ушла. Ее о чем-то спросил Михаил, она что-то ответила — все шепотом.

Застрекотала машинка, и Люся сама испугалась, выпустила ручку — до того громким, как стрельба, показался ее стук. На него тут же пришлепала напуганная Варвара. Увидев Люсю, чуть остыла:

— Слава тебе, Господи! Думаю, кто тут такой. Прямо всю затрясло. Че это тебе приспичило?

Люся не ответила, шила.

— На похороны, че ли, черное-то приготавливаешь?

— Не понимаю: неужели об этом обязательно надо спрашивать?

— А че я такого сказала?

— Ничего.

— Шей, я тебе ниче не говорю. Я вот посижу возле тебя маленько и уйду. Мешать не буду.

Варвара придвинула табуретку, пристроилась сбоку. Она так и не разделась, только отцепила чулки, и они стянутой кожей болтались ниже колен.

Где-то на реке отдаленно и сдавленно гуднул пароход, потом еще и еще.

Варвара подняла голову, прислушиваясь, от напряжения сморщилась:

— Че это он кричит?

— Не знаю. Сигналы кому-то подает.

— Другого места не нашел, где подавать. Прямо всю перевернуло.

Она еще посидела и нехотя поднялась:

— Пойду. Ты долго здесь будешь?

— Пока не сошью.

— Не надо было нам сегодня ложиться, ох не надо было, — покачала головой Варвара. — Сидели бы, разговаривали — все веселей. Чует мое сердце: не к добру это.

Она ушла, но скоро воротилась, пугая Люсю, прислонилась к стенке.

— Что? — спросила Люся.

— Или уж мне кажется, или правда. Иди посмотри. Иди.

Люся не поверила, но сказать, что не верит, не смогла, пошла к матери. Она держала ее руку, но слышала за своей спиной только тяжелое, со свистом, дыхание Варвары: и-а, и-а, и-а. Пришлось отогнать ее, и лишь тогда, и то не сразу, до Люси донеслись, угадываясь, будто за много-много километров, совсем тихие, теряющиеся

толчки. Ей показалось, что с прошлого раза они стали еще слабей и шли не подряд, а через один.

— Ты ложись, — жалея сестру, сказала Люся. — Я, пока шью, буду смотреть, потом разбужу тебя.

— Да разве я усну? — по-ребячьи захныкала Варвара. — Илья хитрый какой, ушел из избы, а тут как хошь. Разве мне теперь до сна? Все буду думать, как да что. Лучше я возле тебя посижу.

— Сиди, если хочешь. — Я тихонько буду.

Она опять пристроилась рядом, вздыхая, трогала материал, смотрела, как Люся шьет.

— Ты это платье после с собой обратно повезешь, нет? — спросила она.

— А что?

— Я к тому, что, если не повезешь, я могла бы взять.

— Зачем оно тебе? Оно же на тебя не полезет.

— Я не себе. У меня девка уж с тебя вымахала. На нее как раз будет.

— А что, твоей девке носить нечего?

— Оно, можно сказать, и нечего. Есть у нее платьишки, да уж все поизносились. А девке, известно, пофорсить охота.

— В черном-то какой же форс?

— Она у меня не привередливая. В дождь когда выйти. В цветастом не пойдешь.

Люся пообещала:

— Уезжать буду — отдам.

— Я так и скажу: от тетки, — обрадовалась Варвара.

— Говори как хочешь.

Когда замолчали и Люся остановила машинку, стало слышно, как кто-то храпит на Михайловой половине. Варвара насторожилась:

— Кто бы это? — Потом, когда храп окреп, рассердилась: — Бессовестный какой! Нашел время. Прямо ни стыда ни совести у людей. Сын родной называется. — Она умолкла и вдруг жалостно попросила: — Пойдем еще раз посмотрим. Я одна боюсь.

Старуха была все так же: жива и не жива. Все умерло в ней, и только сердце, разогнавшись за долгую жизнь, продолжало шевелиться. Но видно было: совсем-совсем мало осталось ему держаться. Может, только до утра.

Пока Люся шила, Варвара так и не легла. И то потом Люсе пришлось уступить ей свою кровать, а самой ложиться на раскладушку — иначе Варвара все равно не дала бы ей уснуть.

2

В свой черед засветилось утро, стало проясняться, но еще до солнца с реки нанесло такого густого и непроглядного тумана, что все в нем утонуло, потерялось. Утробно кричали по деревне коровы, горланили петухи, коротко и приглушенно, будто рыба плещет в воде, доносились людские звуки — все в белой, морозящей зге, в которой только себя и видать. Светало теперь и без того поздно, а тут еще этот туман украл утро, заставил тыкаться наугад.

Первой в старухиной избе поднялась Надя. До недавней поры ее постоянно будила, услышав корову, свекровь, и Надя, если она даже не спала, все равно начинала утро только после того, как ее позовет из своей кровати старуха. Вот и сейчас она встала не сразу, а по привычке подождала старухиново голоса, хоть и знала, что его не будет. Его и не было, зато, надсажаясь, кричала недоевшая корова, и Наде пришлось подняться. Все время помня о старухе и боясь узнать, умерла она или не умерла, Надя неслышно оделась и крадучись вышла из избы, в сенях сняла с гвоздя подойник.

Следом за ней тут же поднялась привыкшая рано вставать Варвара. Она увидела, что Нади нет, а все остальные спят, и кряду раз пять громко и тяжело вздохнула, оканчивая вздохи протяжным стоном, чтобы разбудить Михаила, который спал на полу. Но он даже не пошевелился. Тогда Варвара вздохнула для себя и сама не заметила, что вздохнула; ей стало страшновато в доме, где

всех живых будто заговорили сном. Стараясь кому-то не выдать себя, она тихонько, с опаской, прошла ко второй половине, где лежала старуха, и в дверях остановилась. Дверей в избе, кроме входной, не было, а был только дверной проем — в нем Варвара и встала, боязливо заглядывая в полутемную комнату. Старухино лицо она не увидела, оно было загорожено спинкой кровати, но что-то — живое или уж мертвое. — находилось под одеялом, а пройти вперед, поглядеть Варвара не осмелилась и подалась обратно, думая, что сначала надо сходить на двор, чтобы не бегать после, когда будет не до того.

С улицы Варвара и Надя воротились вместе; Надя принялась в кухне процеживать через марлю молоко, Варвара топталась тут же, заходила то с одного боку, то с другого. На столе по-прежнему стояла машинка, оставшаяся после Люси, и Надя шепотом спросила:

— Сшила она вчера, нет?

— Сшила, — так же шепотом ответила Варвара. — По мелочи только кой-чего не успела. — И не выдержала больше, взмолилась: — Пойдем разбудим ее. Прямо не могу.

— Сейчас. Молоко вынесу.

Как привязанная, Варвара пошла за Надей в сени, потом еще раз, потому что одна банка осталась, а Варваре прихватить ее было не в ум, так и моталась туда-обратно ни с чем. Наконец Надя освободилась, вытерла о тряпку руки и первая зашла на старухину половину.

Люся спала, и было видно, что она спит, про старуху сказать это никто бы не взялся. Надя взглянула на свекровь и скорей отвела глаза, а Варвара и посмотреть испугалась, стала теревить Люсю. Люся проснулась сразу и сразу вскочила, раскладушка от ее толчков отъехала в сторону.

— Что? — спрашивала Люся. — Что?

Варвара приготовилась плакать:

— Не знаю. Сама не знаю. Ты погляди.

Приходя в себя, Люся пригладила руками волосы, надела халат, лежавший рядом на табуретке, и подошла к матери. Уже научившись распознавать жизнь, она подняла старухину руку и тут же уронила ее, отшатнулась: старуха вдруг тонко и жалобно простонала и опять застыла. Варвара запричитала:

— Матушка ты моя, матушка-а! Да открой же ты свои глазыньки-и!

Прибежал в кальсонах Михаил, спросонья не понял:

— Отмаялась? Ох, мать, мать... Надо телеграмму Володке отбить.

— Ты что?! — остановила его Надя. — Ты почему та кой-то?

Люся, нащупав у матери пульс, облегченно сказала:

— Жива.

— Живая?! — Михаил повернулся к Варваре, вскипел: — Какую холеру ты тогда здесь воешь, как при покойнике? Иди на улицу — Нинку еще разбудишь! Завела свою гармонь.

— Тише! — потребовала Люся. — Идите отсюда все.

Сама она еще до еды, пока Надя жарила картошку, села замечывать на новом платье петли и пришивать пуговицы, которые тоже привезла с собой из города. Варвара со слезами пошла в баню, растолкала Илью:

— Живая наша матушка, живая.

Он заворчал:

— Живая — так зачем будишь?

— Сказать тебе хотела, обрадовать.

— Выспался, тогда и сказала бы. А то в рань такую.

— Да уж не рано. Это туман.

Туман держался долго, до одиннадцатого часа, пока не нашлась какая-то сила, которая подняла его вверх. Сразу ударило солнце, еще ядреное, яркое с лета, и вся местность повеселела, радостно натянулась. Пошел сентябрь, но осенью еще и не пахло, даже картофельная ботва в огородах была зеленой, а в лесу только кое-где видне-

лись коричневые подпалины, будто прихватило солнцем в жаркий день.

В последние годы лето и осень как бы поменялись местами: в июне, в июле льют дожди, а потом до самого Покрова стоит красное ведро, которое и хорошо, что ведро, да плохо, что не в свое время. Вот и гадай теперь бабы, когда копать картошку: по старым срокам оно вроде бы и пора, и охота, пока стоит погода, дать картошке как следует налиться — какой там летом был налив, когда она, как рыба, плавала в воде. Если подождать, вдруг опять зарядит ненастье — попробуй ее потом из грязи выколупывать. И хочется и колется, никто не знает, где найдешь, где потеряешь. Так же и с сенокосом: один свалил траву по старинке и сгноил ее всю под дождем, другой пропьянствовал, не вышел, как собирался, и выгадал. Погода и та стала путаться, как выжившая из ума старуха, забывать, что за чем идет. Люди говорят, что это от морей, которых понаделали чуть не на каждой реке.

Наутро Надя изжарила свежую, только что подкопанную картошку и к ней в глубокой чашке поставила соленые рыжики, при виде которых Люся ахнула:

— Рыжики! Самые настоящие рыжики! Я уже забыла, что они еще на свете есть — сто лет не ела. Даже не верится.

— Рыжики — это ага, — причмокнул Илья. — Это вам не что-нибудь. Вот если бы к рыжикам да еще бы что-нибудь — это ага!

— Чего ж ты их вчера-то не поставила, — упрекнул Михаил Надю. — К выпивке оно в самый раз бы было. А так это только переводить их.

Надя, покрасневшая, обрадованная тем, что угодила гостям, объяснила:

— Я вчера и хотела достать, да думаю, не усолели, я ведь их недавно совсем и поставила. А утром полезла, стала пробовать — вроде ниче. Думаю, дай достану, может, кому в охотку придутся. Кушайте, если нравятся.

— Там еще-то у тебя остались?

— Немножко есть. Собирать-то никак и некому. Люди таскают, каждый день вижу, а у меня все руки не доходят, то одно, то другое. В это лето всего два раза и сбегала, и то где поближе.

— У нас Татьяна раньше любила рыжики собирать, — вспомнила Люся. — Все места знала. Я с ней как-то пошла, она еще совсем девчонкой была, а не успела я оглянуться, у нее уже полное ведро. Спрашиваю: «Ты где их взяла?» — «Здесь». — «Почему они тебе попадаются, а мне нет?» — «Не знаю». Я говорю: «Ты их, наверное, заранее нарвала и где-нибудь спрятала, чтобы мне доказать». Она обиделась, ушла от меня. Так, поодиночке, и домой вернулись: она с полным ведром, а у меня только только дно прикрыло.

— А она до конца никогда не выбирала, — объяснил Михаил. — Если маленький — оставит, а на другой день придет, он уже подрос. Все помнила. Она и меня с собой таскала. Мне что: скорей бы нарвать что попадет — да домой. А она увидит: если я маленький сорвал — ну на меня! Один раз разодрались в лесу. Я сам-то больше любил подосиновики собирать — быстрее, они все больше гнездами растут.

— Лучше всех у нас Илья грибы собирал, — засмеялась Люся. — Набьет в ведро травы, а сверху положит несколько грибов, будто ведро полнее.

— Было, ага, — с удовольствием признался Илья.

— А помните, как мама всех нас отправляла рвать дикий лук за Верхнюю речку? Там какое-то болото было, а лук рос на кочках. Все вымокнем, вымажемся, пока нарвем, — даже смотреть смешно. Мешки сложим на сухом месте и прыгаем с кочки на кочку. И еще соревновались, кто больше нарвет, даже воровали друг у друга. А за чесноком плавали на остров, там же, напротив Верхней речки...

— На Еловик, — подсказал Михаил.

— На Еловик, да. Там еще косили для колхоза, вся деревня туда переезжала во время сенокоса. Помню, как я

гребла: жарко, пауки жалят, сено лезет в волосы, под одежду...

— Пауты, поди, а не пауки, — буркнула Варвара. — Пауки паутину по углам плетут, а не жалят.

— Может, и пауты. Все равно у них какое-то другое название, это здесь так зовут. А для себя мы косили на другом острове... сейчас вспомню, как он называется. Тоже деревянное такое название.

— Лиственничник.

— Да, Лиственничник. А сколько смородины было на нем — кусты лежат на земле от ягоды! Ешь, ешь, потом даже язык болит, все зубы отобьешь. Крупная такая смородина, вкусная. Час — и полное ведро. Там и теперь ее, наверное, много.

— Не-е-ет, что вы! — махнула рукой Надя. — Нету. Кустов и тех, считай, не осталось. Как леспромхоз стал, все унесли. Так только, поесть когда, и то ходишь, ходишь...

— Ой как жалко!

— А сколько было синей ягоды на вышке! Тоже нету. Скот вытоптал, и люди совсем не жалеют.

— Что ж вы это так?

— Кто их знает! Хватают, будто в последний раз. С кустами попало — с кустами, с листьями — с листьями унесут.

— Ну, рыжик-то, говорите, есть?

— Рыжик в этом году есть. Люди таскают.

— Надо хоть за рыжиками сходить.

— По рыжик-то сходить — можно было, поди, без телеграммы сюда приехать, — кольнула Варвара.

Люсю это разозлило:

— С тобой, Варвара, совершенно невозможно стало разговаривать. Что ни скажи, все не так, все не так, все не по тебе. Нельзя же только потому, что ты старше, так относиться к каждому нашему слову. Не забывай, пожалуйста, мы тоже достаточно взрослые и, наверное, понимаем, что делаем. Что это такое, в конце концов?!

— Да никто ниче и не говорит, я не знаю, че ты на меня взбеленилась.

— Я же еще и взбеленилась!

— Я ли че ли?

— Да вы кушайте, — стала просить Надя. — А то картошка совсем остынет. Холодная она невкусная. И рыжики хвалили, хвалили, а сами не берете. Кушайте все, а то теперь до обеда.

— Татьяна должна подъехать. Соберемся.

— К обеду должна, ага.

— Если из района, может, и раньше.

— Поди, в заезжей или у чужих людей ночевала, а к нам не пошла, побрезговала, — заранее пожаловалась Варвара.

— Нет, Татьяна обязательно зайдет, — сказал Михаил. — Татьяна у нас простая.

— Была простая, а теперь еще надо поглядеть какая, — стояла на своем Варвара. — Сколько дома не была.

— Ей дальше всех ехать, оттуда сильно-то не набываешься.

— А кто велел ей туда забираться? Уж если ей обязательно военный был нужон, они везде теперь есть, могла бы поближе где подыскать. А то, как сирота казанская, без огляду улетела.

Люся бессильно покачала головой:

— С нашей Варварой лучше не спорить. Она всегда права.

— Не любите, когда правду-то говорят.

— Вот видите. — Люся поднялась из-за стола, поблагодарила: — Спасибо, Надя. С таким удовольствием поела рыжиков.

— Да вы их мало совсем и брали. Не за что и спасибо говорить.

— Нет, для меня немало. Мой желудок уже отвык от такой пищи, поэтому я боюсь его сразу перегружать.

— От рыжиков поносу не будет, — примирительно сказала Варвара. — Они для брюха невредные. Я по себе

это знаю, и ребятишки у меня никогда от рыжиков не бежали. — Она не поняла, почему Люся, охнув, ушла, и спросила у братьев: — Че это она?

— Кто ее знает.

— Прямо ниче и сказать нельзя.

— А ты с ней по-городскому разговаривай, по-интеллигентному, а не так, — посмеиваясь, посоветовал Илья.

— Я-то по-городскому не умею, во всю жисть только раз там и была, а она-то, поди, из деревни вышла, могла бы со мной и по-деревенски поразговаривать.

— Она, может, разучилась.

— Она разучилась, я не научилась, — че ж нам теперь, и слова не сказать?

После завтрака Михаил и Илья сели на крыльцо курить. День разгуливался, небо вместе с туманом отодвигалось все выше и выше, в синих, обрывающихся вдаль разводьях для него уже не хватало человеческого взгляда, который пугался этой красивой бездонности и искал что поближе, на чем можно остановиться и передохнуть. Лес, приласканный солнцем, засветился зеленью, раздвинулся шире — на три стороны от деревни, оставив четвертую для реки. Во дворе перед глазами мужиков без всякой надобности, просто так, по своей охоте кудахтали и били крыльями курицы, чирикали молодки, от тепла и удовольствия повизгивал привалившийся к огородному пряслу боров.

Вышла Нинка, со сна ее ослепило солнцем; она прикрыла глаза ладошками, сморщилась, потом, когда глаза привыкли, шмыгнула за поленницу и села. К ней пристала курица, норовя зайти сзади. Нинка замышкала на курицу, завертелась и нечаянно выехала голой попой из за поленницы. Михаил крикнул:

— Нинка, я тебя, как кошку, носом буду тыкать, так и знай. Сколько раз говорить тебе, чтоб подальше ходила!

Нинка спряталась, обиженно отговорилась:

— Курицы склюют.

— Я тебе покажу — курицы.

Деревня после утренней уборки унялась: кому надо было на работу — ушел, хозяйки, управившись со скотиной, справляли теперь по дому дела негромкие и неслышные, а ребятишки еще не успели высыпать на улицу, — было спокойно, ровно, с редкими, привычными звуками: животина ли прокричит, или скрипнет калитка, или где-то сорвется как бы ненароком человеческий голос — все не для слуху и не для отклика, а для того лишь, чтобы кругом при живых не казалось пусто и мертво. Этот выдавшийся от часу между утром и обедом покой смирял и шумы и движения, ладил с ясным, светящимся теплом, падающим с открытого неба, тихо и невидно возносил деревню, отогревая ее после ночи.

— Видать, невредная у нас все же мать была, — сказал Михаил, тронутый ласковой, манящей тишиной. — И день для нее вон какой выдался. Не каждому такой дают.

— Погода установилась, ага, — отозвался Илья.

— Нам, однако, надо вот что сделать. Пока в магазине белая есть, надо, однако, взять. А то, если завтра деньги привезут, ее всю порастащат. Потом бегай.

— Водку, что ли?

— Но. Белую. А эту, красную, я не уважаю. Она для меня что есть, что нету. С нее, с холеры, утром голова не дай Бог болит. — При воспоминании о похмелье Михаила передернуло. — Как чумной весь день ходишь.

— Все равно для женщин взять придется.

— Немножко возьмем, и хватит. Куда ее много? Теперь женщины тоже не сильно-то ее пьют. Все больше нашу.

— Кругом равноправия требуют?

— Но.

Они хитро и понимающе улыбнулись, но заводить веселый у мужиков разговор о равноправии сейчас было не время, и они оставили его. Илья спросил:

— Сколько водки будем брать?

— Так не знаю, — пожал плечами Михаил. — Ящик, однако, надо. Меньше и делать нечего. Полдервни при-

дет. Позориться тоже неохота, у нас мать будто не скупая была.

— Ящик возьмем, ага.

— У тебя с собой какие-нибудь деньги есть?

— Пятьдесят рублей есть.

— Да я сейчас у Нади возьму. Хватит нам.

— У сестер брать будем?

— У Варвары и брать нечего. У Люси можно спросить, у нее, наверно, денег много. Пускай дает. Тоже родная дочь, не приемная — как ее будешь отделять? Еще обидится.

— Сейчас сразу пойдем?

— А чего тянуть? Я вот Надю найду, и пойдем. Нет, взять надо, а то ее завтра, если получку привезут, как пить дать не будет. Я знаю, у нас тут это так. Чуть рот разинул — и все, переходи на воду. В другое время оно, конечно, и перетерпеть можно, а раз уж у нас такое дело, позору не оберешься. Нет, мать надо проводить как следует, на мать нам пожаловаться нельзя. — Михаил первый поднялся, не прерываясь, раскинул: — Давай так: я к своей пойду, у нас там тоже должно немножко остаться, а ты давай к сестре, а то мне, вроде как хозяину, неловко у нее спрашивать. И туда. Это мы правильно догадались. Взять надо, взять, теперь уж дожидаться нечего.

Скоро они ушли, возбужденные тем, что идут за выпивкой и возьмут ее много, столько, что одному я не унести. Магазин находился недалеко, народу в нем перед получкой никого не было, и они не задержались там, позвякивая бутылками, притащили ящик и поставили его в кладовке.

— Ну вот, — сказал Михаил. — Когда она на месте, оно спокойней. Пускай стоит, ей тут ни холеры не будет. А эту, портвейнную, в любой момент можно взять, на нее сильно-то охотников нету.

В избе вдруг заголосила Нинка, и Михаил открыл дверь, хотел прикрикнуть на дочь, но увидел, что ее уже взяли в оборот все три женщины, и прислушался.

— Она сама-а, — тянула Нинка.

— Что сама? Что? — тормошила девчонку Люся.

— Это не я-а. Она сама-а...

— Да что она сама? Ты скажи. Ты говорить умеешь?

— Она сама глаза открыла и сама меня увидала...

— Ну и что?

— «Сама ее увидала», — передразнила Нинку Надя. — А почему я тебя увидала, что ты к ней в чемодан лезешь? Тебя кто туда просил? Чего ты там забыла?

— Она сама мне показала! — выкрикнула Нинка. — Ты не видала и не говори.

— Я вот тебе поразговариваю так с матерью. Ишь, за моду взяла. У кого только и научилась...

— Подожди, Надя, — остановила ее Люся и опять наклонилась к Нинке: — Куда она тебе показала?

— Куда... куда... Под кровать.

Надя объяснила:

— Она там в своем чемодане конфеты для нее держит.

— А как она тебе показала? — продолжала допытываться Люся. — Расскажи нам подробнее. Как это было? Ну?

— Я на нее смотрела, а она на меня не смотрела, а потом глаза открыла и тоже начала смотреть. И показала.

— Она тебе ничего не говорила?

— Не говорила.

— Ой-ёшеньки, — тяжело вздохнула Варвара. — Чего же это будет-то?

— Она у нас вообще-то не пакостливая, — вступился за Нинку Михаил. — Никогда не замечали. Может, на мать, правда, озаренье какое перед смертью нашло. А Нинка тут подвернулась.

Упоминание о смерти заставило их насторожиться, присмиреть, даже задышали с опаской, словно воздух уже был отравлен въедливой потусторонней затхлостью, пускать которую живым в себя нельзя. Потом тихонько придвинулись к старухиной кровати, стараясь найти в матери перемены, и не нашли: теперь, когда свет стал бо-

гаче, чем утром, лицо старухи казалось еще мертвее, но сердце по-прежнему продолжало колотиться, не пуская ее оторваться от людей.

Михаил вышел на улицу к Илье, который все это время забавлялся тем, что крошил курицам хлеб, и рассказал:

— Нинка говорит, мать-то наша глаза открывала.

— Смотри-ка ты! — удивился Илья, отпугивая ногой петуха. — Чего это она?

— Не знаю.

— А жива?

— Живая. Смотрели.

День все же выдался с умыслом, не просто так, и умысел этот вполне мог касаться старухи — день был мягкий и легкий и ровно сошелся над самой деревней, а то и над самой старухиной избой. Время уже придвигалось к обеду, а он так и не расшумелся, тек тихо и близко, оберегая кого-то от вредного беспокойства. Небо с утра приспустилось ниже и вроде бы задумалось, но не сильно, в ожидании. В сентябре дни тоже стоят не молоденькие, много чего с весны повидали, а этот, похоже, и вовсе все под собой знал и в чем-то, может, хотел помочь старухе, чтобы не находиться ей больше на суровом, судном месте, — только и надо было: незаметно передвинуть ее вперед или назад, чуть подтолкнуть оттуда, где она застряла.

Михаил и Илья, притащив водку, теперь не знали, чем заняться: все остальное по сравнению с этим казалось им пустяками, и они маялись, словно через себя пропуская каждую минуту. Они поговорили о том, что Татьяны почему-то все нет и нет, хотя можно было уж десять раз приехать. Илья спросил у Михаила, когда ему на работу, и Михаил ответил, что он на эти дни отпросился, — слова выходили пресные, без особой надобности и не складывались в разговор. Братья понимали, что сейчас все главное для них состоит в том, чтобы ждать, но и ждать тоже можно по-разному, и они исподволь уже начали тревожиться, так ли ждут, как надо, не теряют ли даром время. Напоминание об умирающей матери не отпуска-

ло, но сильно и не мучило их: то, что надо было сделать, они сделали — один дал известие, другой приехал, и вот водку вместе принесли — все остальное зависело от самой матери или от кого-то там еще, но не от них — не копать же в самом деле могилу неготовому человеку! Всегда у них была работа, а тут вдруг ее не стало, потому что перед бедой, которая заступила за порог, справлять постороннюю работу считалось нехорошо, а от самой беды никакого дела больше не шло.

— Скажи все же, а, — начал опять разговор Михаил. — Ведь знали, что вечно жить не будет, что близко уж. Вроде привыкнуть должны, а не по себе.

— А как иначе, — подтвердил Илья. — Мать.

— Мать... это правильно. Отца у нас нет, а теперь мать переедет, и все, и одни. Не маленькие, а одни. Скажем, от нашей матери давно уж никакого толку, а считалось, первая ее очередь, потом наша. Вроде загораживала нас, можно было не бояться. А теперь живи и думай.

— А зачем об этом думать? Думай не думай...

— Оно и незачем, а все равно. Вроде как на голое место вышел, и тебя видать. — Михаил крутнул кудрявой головой, промолчал. — Опять же о своих ребятах если сказать. При живой бабке они все будто маленькие, и сам ты молодой, а теперь вот, умри она, ребята сразу начнут тебя вперед подталкивать. Они же, холеры, растут, их не остановишь.

Михаил не успел закончить — выскочила Надя, быстро, не своим голосом позвала:

— Мужики, идите скорей. Скорее.

— Что там такое?

— Мать...

Пока они подросли, старуха уже опять впала в беспмятство, но перед тем она вдруг выговорила какое-то слово, какое — не расслышали, а когда Люся и Варвара подбежали, она еще смотрела перед собой, но глаза уже смыкались. Что-то происходило в ней, хоть она больше и не двигалась, что-то внутри заработало — видно было,

что старуха вот-вот стронется с остановившего ее места, даже в лице наметились изменения: оно стало глубже, смелей и оттуда, из глубины, вздрагивало оставшимися в нем силами, как бы подмигивая закрытыми глазами.

Они стояли вокруг матери, со страхом смотрели, не зная, что думать, на что надеяться, и этот страх совсем не походил на все прежние страхи, которые выпадали им в городской и деревенской жизни, потому что он был всего страшнее и шел от смерти, — казалось, теперь она заметила всех их в лицо и больше уже не забудет. Страшно было еще и видеть, как это происходит: когда-нибудь это должно было произойти и с ними, а они считали, что это то самое, и не хотели смотреть, чтобы не помнить о нем постоянно, и все-таки не могли отойти или отвернуться. Еще и потому нельзя было отойти, что она, занятая их матерью, могла остаться этим недовольной, а обращать лишний раз на себя ее внимание никому не хотелось.

И они стояли, не двигались.

Что-то стало биться в старухины глаза, шевелить их, и глаза не сразу, не легко, но открылись, попробовали поймаваться за свет и не смогли, сорвались. Несколько минут они лежали спокойно, затем опять пришли в движение и разомкнулись, на этот раз силы в них было больше, и они в своем ненадежном свете что-то увидали, что-то такое, что тоже было ненадежным и туманным, как видение; на лице старухи появилось выражение отчаяния и боли, и она, поморгав, стараясь отогнать видение, не смогла отогнать его и укрыла глаза, быть может, сама. Но то, что привиделось старухе, уже не отпускало ее, звало проверить — казалось, к ней пришли воспоминания о том, что она жила, и ей захотелось узнать, где она теперь и в уме ли она; старуха тихонько раздвинула веки, над которыми у нее нашлась власть, и выглянула — нет, они не пропали, она увидала их ближе и признала — этого она уже не вынесла в молчании, из ее груди посыпались слабые сухие звуки, похожие на клохтанье.

Варвара ахнула, пришлепнула ладонями и прижала их к горлу, останавливая себя, чтобы не закричать.

Старуха умолкла, словно истратила в себе остатки живого, глаза ее нехотя сморились, но дыхание было сильным, и она от него вздрагивала, потом и дыхание направилось, но не пропало, по нему было ясно видно, как шевелится на старухе одеяло.

Они ждали, особенно близко чувствуя, что они сыновья и дочери этой старухи, и жалея ее, а еще больше жалея себя, потому что после ее кончины им останется горе, навязанное смертью, которое кончится не скоро. И еще каждый из них по-своему чувствовал новое, не бывавшее прежде в нем горькое удовлетворение собой оттого, что он здесь, при матери в ее последний час, как и положено сыну или дочери, и тем самым заслужил ее прощение — какое-то другое, не человеческое прощение, мало имеющее отношения к матери, но все же необходимое в жизни. Это были страх и боль вместе, больше всего их пугало, что они, глядя на долго отходящую мать, видели, казалось, то, что людям смотреть нельзя, и, сами не веря себе, они хотели, чтобы это кончилось скорей.

Старуха все дышала.

Илья, не вытерпев, шепнул что-то Михаилу, и старуха, как бы отзываясь на этот шепот, вдруг опять открыла глаза и не убрала их, осмотрелась. Она хотела заплакать, но не смогла: плакать было нечем. Ей кинулась помогать Варвара, заголосила легко и громко, и старуха, поддержанная нужным ей голосом, осталась, не провалилась; слова уже ушли от нее, и все-таки те, самые родные, которые всегда были на языке, она вспомнила.

— Лю-ся, — с усилием выговорила она. — Илька. Вар-ва-ра.

— Мы здесь, мама, здесь, — удержала ее Люся. — Лежи. Мы здесь.

— Матушка-а! — зашлась Варвара.

Старуха поверила и голосам и себе, в последней радости и страдании затихла. Она смотрела на них, а сама,

казалось, погружалась куда-то все глубже и глубже. И вдруг ее что-то остановило, она вернулась, лицо ее сморщилось, глаза кого-то искали. Варварин плач мешал ей, и Варвару догадались остановить.

— Таньчора, — с мольбой выговорила старуха.

Они переглянулись, вспоминая, что мать звала так Татьяну, и враз ответили:

— Еще не приехала.

— Вот-вот будет.

— Теперь уж скоро.

Старуха поняла, чуть кивнула. На лицо ее нашло спокойствие, глаза закрылись. Она опять была далеко.

Они отошли — надо было отдохнуть. Возле старухи осталась одна Варвара, она тихо плакала, и плач ее никому не мешал. Умолкни она, и им стало бы не по себе.

3

Чудом это получилось или не чудом, никто не скажет, но только, увидав своих ребят, старуха стала оживать. Еще два или три раза она теряла память, будто незаметно проваливалась куда-то в темную глубь под собой, и все же всякий раз приходила в себя и с боязливым стоном приоткрывала глаза — тут они или они ей пригрезились? Кто-нибудь из них обязательно был рядом и звал остальных — она узнавала их и, успокаиваясь, старалась заплакать. В последний раз ей это удалось, и она сама услышала свой слабый, издержавшийся голос, который, видать, не собирался больше выходить наружу и оттого вышел с таким мучением.

Мало-помалу старуха выправилась, и все, что в ней было и что должно было ей подчиняться, одно за другим находилось и как будто даже годилось для жизни. Перед вечером она отошла уже настолько, что позвала Надю и попросила:

— Ты бы сварила мне кашу... ту, которую маленькой Нинке варила. Из крупы. Жиденькую.

— Манную, что ли?

— Ну-ну, ее. Маненько. Горло промочить. Жиденькую.

В доме забегали, захопотали. Слава Богу, манка у Нади была, но печь к той поре после обеда совсем остыла, и кашу решили варить на электроплитке, долго искали ее, кое-как нашли, да оказалось, что электричество еще не подают. Отправили Михаила растапливать во дворе каменку, Люся с Варварой заспорили, в чем варить кашу, потому что Варвара готова была сразу скормить матери ведерный чугунок, а Люся стояла на том, что много нельзя, вредно, лучше потом сварить снова; Илья топтался возле Михаила, приговаривал:

— Мать-то наша, а? Видал?

— Родова, — соглашался Михаил. — Нашу родову так просто в гроб не загонишь.

— Кашу, говорит, хочу — ага. Видал? А я, правду сказать, не верил, думал, все, концы. А она: кашу, говорит, хочу, варите, говорит, мне кашу. Проголодалась, значит. Ишь ты!

— Старухи вообще долго живут. Чем дряхлее старуха, тем дольше живет — вот заприметь. На нет вся сойдет, душе не в чем держаться, а все шевелится. Откуда что и берется.

Илья удивленно настаивал:

— Но мать-то, мать-то наша! Кто бы мог подумать! Мы с тобой ей водку на поминки берем, а она говорит: «Подождите, говорит, добрые люди, дочери мои и сыновья, я еще каши не наелась». — Он смеялся и повторял: — «Каши, говорит, еще не наелась, а без каши я ничего не знаю».

— Ослабела, — более сдержанно отвечал Михаил. — Оно конечно: столько дней крошки в рот не брала. Хоть до любого доведись.

Набежали женщины с банками и склянками, засуетились вокруг печки, будто в шесть рук собирались готовить бог знает какое заморское кушанье, а не обыкновенную манную кашку в маленькой кастрюльке. Тут же пу-

талась под ногами Нинка; Надя гнала ее и никак не могла прогнать: Нинка понимала, что произошло что-то важное, необыкновенное, и боялась пропустить то, что произойдет дальше. Варвара вспотела, она то и дело бегала от печки к старухе, придерживая в беге живот, как беременная, и подбадривала мать:

— Потерпи, матушка, потерпи, скоро сварим.

Кашу подала старухе Люся, не отпуская кружку, чтобы мать не выронила ее на себя. Старуха пила маленькими, осторожными глотками, отхлебнет два раза и отдохнет, еще отхлебнет и еще отдохнет. И отпила-то как грудной ребенок, не больше, а уж откинулась, изнемогла, махнула на кружку рукой, чтобы убрали, и долго еще не могла отдышаться:

— Ой, задохнулась вся. Хуже работы. У меня и животишко-то уж в узелок завязался. Где же его растянешь?

— Ничего, мама, ничего, — сказала Люся. — Так и надо. Сейчас желудок перегружать сразу нельзя. Мало ли что. Пусть он сначала это переварит, потом можно еще попить.

— Животишко-то уж в узелок завязался, — с горькой радостью повторила старуха. — Думал, па-е-хали, Анна Степанна, на новую фатеру. Па-е-хали с орехами. — Наляживая дыхание, она невидяще смотрела куда-то вверх, и оттого казалось, что она бредит. — А я-то, бесстыжая, ом-манула его, назад повернула, а тепери над им же и изгаляюсь, кашу в его толкаю. А куды ему мою кашу, сама бы подумала.

Воздуха ей не хватило, и она закашлялась. Люся торпливо сказала:

— Тебе нельзя, мама, говорить так много. Ты еще совсем слабая.

— Молчать, ли че ли, буду? — куражливо ответила старуха. — В кои-то веки ребят своих вижу — и молчком? — Они все были тут, возле нее, она обвела их неверным и все-таки гордым взглядом и уже спокойнее, сохраняя силы, продолжала: — Меня будто в бок кто толк-

нул: ребята приехали. Нет, думаю, я сперва на ребят на своих погляжу, а уж после помру — боле мне ничего не надо.

Говорить ей все же было трудно, она поневоле умолкла. Но радость, оттого что она видит перед собой своих ребят, не давала ей отдохнуть, билась в лицо, шевелила руки, грудь, забивала горло. Они все были возле матери и, чтобы она не отзывалась им, тоже молчали, берегли ее. Старуха несколько раз принималась плакать, глядела на них суматошно и нетерпеливо, вздрагивая маленькой головой, когда переводила глаза с одного на другого, и только узнавала их: это Илья, это Варвара, это Люся, но от слез ли, или глаза сами по себе видели еще плохо, не могла рассмотреть их как следует и от этого сердилась на себя. Ей вдруг опять пришло в голову, что все вокруг нее неправда — сон или видение, последнее воспоминание о прожитой жизни, — потому и стоит перед глазами туман.

Отгадывая себя, она замерла, затихла.

В комнате было светло тем неярким и чистым светом ясного дня, который бывает перед закатом. Старуха лежала изголовьем к окну, и солнце падало ей в ноги, осторожно остывало на стене напротив, словно, выступая, пронизывало ее с другой стороны. Только теперь старуха увидала солнце и, узнав его, обрадовалась; после долгих, беспмятных потемок ей сразу стало теплее от него, бережным дыханием оно пошло в ее тело, подгоняя кровь. Это был не сон: во сне и солнце не греет, и мороз не холодит. В ушах легонько зазвенело дальним приятным звоном, и так же неожиданно, как возник, этот звон прекратился. Старуха стала вспоминать, откуда он мог взяться, и решила, что он сохранился в ней еще с той поры, когда она была молодой, — тогда она часто его слышала и запомнила на всю жизнь. Он не мог обмануть ее, он был живой.

— Господи, — прошептала старуха. — Господи.

Она набралась духу и подняла глаза. Они были здесь, ждали на прежнем месте, но старухе показалось, что они подошли ближе. Теперь она видела их яснее.